

К Н И Г И
Аркадия и Георгия Вайнеров
в серии
«Азбука Premium»:

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

ВИЗИТ К МИНОТАВРУ

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ ВАЙНЕРЫ

Визит к Минотавру



Санкт-Петербург

Книга первая

Вход в лабиринт

ГЛАВА 1

Улыбка королевы

И кода тоже не получилась. Здесь должно быть высокое, просто кричащее пиццикато, но звук выходил тупой, тяжелый, неподвижный. Сзади, там, где тускнели лампы, раздался смех. Плыла, тяжело дыша, жаркая венецианская ночь. Дамы обмахивались веерами, и кавалеры шептали им на ушко что-то, наверное, гривуазное, а они улыбались, и Антонио все время слышал шорох разговора в зале, и от этого проклятая скрипка звучала еще хуже, пока кто-то отчетливо — как камень в воду — не сказал: «А ведь хороший резчик по дереву был!» Тогда Антонио сбросил смычок со струн, и скрипка противно вскрикнула, злорадно, подло, и в зале все лениво и равнодушно захлопали, решив, что пьеса окончена, слава богу...

На негнущихся голенастых ногах прошагал к себе в комнату Страдивари, долго пил из кувшина, пока, булькнув, струйка не иссякла. Вода была теплая, вязкая, и жажда не проходила. Антонио стянул с головы парик и вытер им воспаленное, мокрое от пота лицо, долго сидел без чувств и мыслей, и только огромная, утомительная пустота заливала его, как море. Кто-то постучал в дверь, но он не откликнулся, потому что ужин у графа Монци был бы сейчас для него невыносимой пыткой, да и не имело теперь значения, откажет ли ему в дальнейшем покровительстве граф, — жизнь ведь все равно была уже кончена.

От темноты и одиночества напряжение немного прошло, и Антонио почувствовал сильную жалость к себе. Он зажег сальную свечу и вытащил из дорожного мешка щипчики и тонкую длинную стамеску. Взял скрипку в руки, и она вновь вызвала у него прилив ненависти — пузатая, короткая, с задраным грифом, похожая на преуспевающего гонуэзского купца. Антонио упер скрипку в стол и сильным точным толчком ввел металлическое жало стамески под деку. Скрипка затрещала, и треск ее — испуганный, хриплый — был ему тоже противен. Освободил колки, снял бессильные, дряблые струны и поднял деку. Аляповатая толстая душка, нелепо поставленная пружина, толстые — от селедочного бочонка — борта-обечайки.

В горестном недоумении рассматривал Антонио этот деревянный хлам, зная точно, что он никуда не годен. Господи, надоумь, объясни — как же должно быть хорошо? На колокольне ударили полночь, и где-то далеко на рейде бабахнул из носовой пушки неапольский почтовый бриг, и время текло, струилось, медленно, размеренно, как вода в канале за окном, и откровение не приходило. Из окна пахло сыростью, рыбой, полночным бризом. Антонио встал, собрал со стола части ненавистной скрипки, подошел к окну и бросил в зеленую воду немые деревяшки. Потом, не снимая камзола и башмаков, лег на узкую кровать, поняв окончательно, что жизнь кончена, уткнулся в твердую подушку, набитую овечьей шерстью, и горько заплакал. Он плакал долго, и слезы размывали горечь, уносили рекой сегодняшней позор, намокла и согрелась подушка, ветерок из окна шевелил на макушке короткие волосы, и незаметно для себя Антонио заснул.

А когда проснулся, солнце стояло высоко, и горизонта не было видно, потому что сияющее марево воды сливалось с нежно-сиреневым небом, и ветер гнал хрустящие, кудрявые, как валансьенские кружева, об-

лака, и только тонкая стамеска да черненные щипчики на столе напомнили ему, что жизнь кончилась еще вчера. Вспомнил — и засмеялся.

В этот день Антонио Страдивари исполнилось девятнадцать лет.

.....

Королева улыбалась ласковой, чистенькой старушечьей улыбкой, и трещины расколовшегося стекла нанесли на ее лицо морщинки доброты и легкой скорби. Портрет валялся на полу, и с того места, где стоял я, казалось, будто королева запрокинула голову, внимательно рассматривая красное осеннее солнце, недвижимо повисшее в восточном окне гостиной.

— Девять часов шестнадцать минут, — сказал эксперт Халецкий.

— Что? — переспросил я.

— За восемь минут, говорю, доехали.

— Ну слава богу. — Я ухмыльнулся. — Задержись мы еще на две минуты, и тогда делу конец...

Эксперт покосился на меня, хотел что-то сказать, но на всякий случай промолчал. Мы стояли в просторной прихожей, в дверях гостиной, не спеша оглядывая разгром и беспорядок в комнате, ибо этот хаос был для нас сейчас свят и неприкосновенен, являя собой тот иррациональный порядок, который создал здесь последний побывавший перед нами человек. Вор.

— Послушайте, Халецкий, а ведь, наверное, сильно выросла бы раскрываемость преступлений, если можно было бы консервировать место происшествия. Вы как думаете?

— Не понял, — осторожно сказал Халецкий, ожидая какого-то подвоха.

— Чего непонятного? Вот закончим осмотр, сфотографируем, запишем, и сюда придут люди. Много всяких людей. И навсегда исчезнет масса следов и деталей, на которые мы с первого раза просто не обратили внимания...

— И что же вы предлагаете?

— Я ничего не предлагаю. Просто фантазирую. Если бы можно было после осмотра опечатать квартиру и прийти сюда завтра, послезавтра — и мы бы увидели так много нового...

— Прекрасный образец работы по горячим следам, — сказал сварливо Халецкий. — Вы лучше постарайтесь все это увидеть сейчас. Кроме того, я не уверен, что хозяева этой квартиры согласны погостить у вас дома... пока вы будете искать не замеченные сразу улики.

Я засмеялся:

— Да, в моих апартаментах будет трудно разместить эти рояли. И хоть я в этом мало чего понимаю, но хозяину они, наверное, нужны оба.

Сзади щелкнула входная дверь, и вошла инспектор Лаврова, а за нею — собаковод Качанов с Марселем. Огромный, дымчато-серый с подпалинами пес спокойно сел в прихожей, приветливо посмотрел на меня, смешно подергал черным замшевым носом. «Я готов, — всем своим видом говорил Марсель. — Не знаю, чего уж вы тут копаетесь».

— Что, поработаем, Марселюшка? — спросил я и потрепал пса по загривку.

Овчарка прищурила свои янтарно-красчатые круглые глаза.

— Станислав Палыч, вы его зря сейчас разговариваете, — сказал недовольно Качанов. — Исковой пес в работе на след должен быть уцелен, как на жареную печенку.

Лаврова чиркнула зажигалкой, затянулась сигаретой, со смешком сказала:

— А что толку-то? Все равно «...у стоянки такси собака след утратила...».

— Это вы уж бросьте! — совсем обиделся Качанов. — Вашей-то фотографии в музее милицейском еще нет пока, товарищ лейтенант... А Марсель мой, между прочим, третий год там красуется. Зазря портрет на стенку вешать не станут. Притом в раме...

— Станислав Павлович, поблагодарите Качанова за комплимент, — засмеялась Лаврова. — Я ведь там и ваш портрет видела.

Лаврова оглядывалась в прихожей, разыскивая, куда бы ей сбросить пепел с сигареты, направилась к столику, на котором стояла большая тропическая раковина. Я опередил ее, подставив развернутую газету:

— Если нет принципиальных возражений, пепел будем стряхивать сюда. Я ведь сейчас отличаюсь от Марселя тем, что, прежде чем искать, обязан сторожить тот порядок, в котором мы все это застали.

Лаврова взглянула на меня, усмехнулась:

— И опять вы правы. Я с тоской думаю об участи женщины, которая станет вашей женой.

Я кивнул:

— Я тоже. Для вас остается вариант личного самопожертвования. А теперь, как говорили дуэлянты, приступим, господа. Качанов, войдешь первым: вы

с Марселем отрабатывайте след, а мы начнем свою грустную летопись.

Качанов снял с Марсеся поводок, что-то шепнул ему на ухо и пустил в комнату. Я стоял, прислонившись к притолоке.

Собака, видимо, взяла след. Она занервничала, вздыбилась шерсть на загривке, судорожно подергивался нос — черный, влажный, нежно-трепетный. Марсель перебежал комнату и исчез в спальне, потом снова вернулся, и двигался он все время кругами, иногда растягивая их и переворачивая в восьмерки, пока не выбежал обратно в прихожую, сделал стойку у дверного замка, и тут Качанов ловко и быстро накинул на него карабинчик поводка. Марсель стал скрести когтями дверь и вдруг неожиданно тонко взвыл: «У-у-юу...» — как от мгновенной внутренней боли. Качанов открыл дверь и выскочил вслед за овчаркой на лестничную площадку, потом раздался его drobный топот по ступенькам.

— Прощу вас, — сделал я широкий жест, приглашая войти в гостиную, и добавил, обращаясь к Халецкому, хотя Лаврова отлично поняла, что говорю я это для нее, и Халецкий это знал: — Весь наш мусор — окурки, бумажки и тэдэ и тэпэ — складывать только на газете в прихожей...

И поскольку мы все трое знали, кому адресовано это указание, осталось оно без ответа, вроде безличного замечания: «Уже совсем рассвело». Я подошел к портрету — почему-то именно портрет больше всего привлекал мое внимание. Это была очень хорошая фотография, застекленная в дорогую строгую рамку. Часть стекла еще держалась, вокруг валялись длин-

ные, кривые, как ятаганы, обломки, рядом на паркете засохли уже побуревшие пятна крови. Там, где капли упали на стекло, они были гораздо светлее. Одна длинная капля попала прямо на фото и вытянулась в конце дарственной надписи, как нелепый, неуместный восклицательный знак.

— Королева Елизавета Бельгийская, — сказал Халецкий, присевший рядом со мной на корточки.

— Это написано или вы так думаете? — спросил я, проверяя себя.

— Знаю, — коротко ответил эксперт. — Жаль, я не понимаю по-французски. Интересно, что здесь начертано?

— Наверное, что-нибудь вроде: «Люби меня, как я тебя», — усмехнулся я.

Лаврова заглянула через мое плечо:

— «Гениям поклоняются дамы и монархи, ибо десница их осенена Господом».

— Вы это всерьез полагаете? — обернулся я к Лавровой.

— Это не я, это бельгийская королева так полагает, — сказала Лаврова.

— Н-да, жаль, что я не гений, — покачал я головой.

— А зачем вам быть гением? — спросила Лаврова. — Расположение монархов вас не интересует, а с поклонницами у вас и так, по-моему, все в порядке.

Я внимательно взглянул на нее, и мне показалось, что в тоне Лавровой досады было чуть больше, чем иронии.

Я снова наклонился над портретом. Королева улыбалась беззаботной улыбкой, и теперь — совсем рядом — эту накопившуюся десятилетиями беззабот-

ность неправящего монарха-дамы не могли изменить даже морщины — трещины расколовшегося стекла.

— И все-таки жаль, что я не гений.

— Слушайте, негений, вы о чем сейчас думаете? — спросил Халецкий.

— Ни о чем. Мне сейчас думать вредно. Я сейчас стараюсь стать запоминающей машиной. Вот когда все зафиксирую в памяти, тогда начну думать.

— Неужели вам никогда не надоедает оригинальничать? — раздраженно спросила Лаврова.

Я удивленно посмотрел на нее, потом засмеялся:

— Леночка, а я ведь не оригинальничаю. И не я это придумал. Еще много лет назад меня учил этому наш славный шеф — подполковник милиции Шарпов.

— Чему? Не думать?

— Нет, в первую очередь запоминать. Я должен сейчас сразу и навсегда запомнить то, что пока есть, но может исчезнуть или измениться...

— Например?

— Так не например, а конкретно: существует несколько неоспоримых, раз и навсегда установленных правил. Запомнить время по часам — своим и на месте преступления, даже если они стоят. Это первое. Затем осмотр дверей: целы ли, заперты, закрыты, есть ли ключи. То же самое с окнами. Установить наличие света. Посмотреть, как обстоит с занавесями. Проверить наличие запахов: курева, газа, пороха, горелого, духов, бензина, чеснока и так далее. Погода — это почти всегда важно. При всем этом ни в коем случае нельзя спешить с выводами — ответ на задачу всегда находится в конце, а не в начале. Ну и конечно, ни

в коем случае нельзя давать вовлечь себя в дискуссию зевакам...

Лаврова долго смотрела мне в глаза, потом негромко спросила:

— Последняя из этих муровских заповедей — для меня?

Я снова перевел взгляд на улыбающуюся королеву, затем поднял голову:

— Перестаньте, Лена. Я вас старше не только по званию. Я вас вообще старше. И гораздо опытнее. И все равно очень многого еще не знаю. И когда меня, как котенка, тычут носом, я не обижаюсь, а учусь. Во всяком случае, стараюсь не обижаться. По-моему, это единственно приемлемая программа для умного человека...

— Поскольку вы не только старше меня вообще, но и по званию, будем считать, что вы меня убедили, — пожала плечами Лаврова.

— Ага, будем считать так, — сказал я, сдерживая злость. — Я точно знаю, что это самая лучшая позиция убеждения.

— Несомненно, — подтвердила Лаврова. — Правда, с этой позиции убеждение уже иначе называется...

— Вот и прелестно, — согласился я. — Начните выполнение моего приказа с общего осмотра и составления плана места преступления...

Лаврова с ненавистью посмотрела на улыбающуюся королеву и пошла в кабинет. Я сказал ей вслед:

— И про заповеди не забудьте...

Халецкий не спеша проговорил:

— Если мне будет позволено заметить, то обращаю ваше внимание, Тихонов, на то, что я, в свою очередь, старше и опытнее вас.

— Будет позволено. И что?

— Что? Что вы не правы.

— Это почему еще?

— В своей молодой, неутоленной жизненной сердитости вы ошибочно полагаете, будто через несколько лет, когда Лена станет опытным, зрелым работником, она будет с душевной теплотой вспоминать о строгом, но справедливом и мудром первом учителе сыска Станиславе Тихонове...

— Не знаю, возможно. Я как-то не думал об этом.

— Так вот — нет. Не будет она с душевной теплотой вспоминать о вас. Она будет вспоминать о вас как о нудном и к тому же жестоком субъекте.

— Ной Маркович, неужели я нудный и жестокий субъект? С вашей точки зрения?

— Вас же не интересует, что я буду думать о вас через несколько лет. А сейчас, будучи гораздо старше и опытнее, как вы говорите, — вообще, я полагаю, что через плотину вашего разума регулярно переливаются волны молодой злости и нетерпимости. Будьте добрее — вам это не повредит.

— Может быть, может быть, — сказал я.

— Так что вы думаете насчет портрета? — спросил Халецкий.

— Я думаю, что где-то здесь поблизости должен валяться гвоздик, на котором он висел.

— Я тоже так думаю, — кивнул Халецкий. — Портрет вор не сбросил: он, видимо, только трогал его, гвоздь выпал, и портрет упал...

Мы давно работали вместе и умели разговаривать кратко. Так люди выпускают в телеграммах предлоги — для экономии места, только мы выпус-

кали целые куски разговора и все равно хорошо понимали друг друга.

— Ной Маркович, а вы сможете собрать осколки? — спросил я.

— Я постараюсь...

Халецкий стал распаковывать свой криминалистический чемодан, который за необъятность инспектора называли «Ноев ковчег». Я напомнил:

— Соскобы крови с пола возьмите в первую очередь.

Халецкий взглянул на меня поверх очков:

— Непременно. Я уже слышал как-то, что это может иметь интерес для следствия...

Я еще раз взглянул на портрет. Холодное солнце поднялось выше, тени стали острее, рельефнее, и трещины были уже не похожи на морщинки. Косыми рубцами пересекали они улыбающееся лицо на фотографии, и от этого лицо будто вмялось, затаилось, замолкло совсем...

— Не стойте, сядьте вот на этот стул, — сказал я соседке Полякова.

Непостижимость случившегося или неправильное представление о моей руководящей роли в московской милиции погрузили ее в какое-то нервное состояние. Она безостановочно проводила дрожащей рукой по волосам — серым, непричесанным, жидким — и все время повторяла:

— Ничего, ничего, мы постоим, труд не велик, чин не большой...

— Это у меня чин не большой, а труд, наоборот, велик, — сказал я ей, — так что вы садитесь, мне с вами капитально поговорить надо.

Она уселась на самый краешек стула, запахнув поглубже застиранный штапельный халатик, и я увидел, что всю ее трясет мелкой дрожью. Она была без чулок, и я против воли смотрел на ее отекавшие голые ноги в тяжелых синих буграх вен.

— У вас ноги больные? — спросил я.

— Нет, нет, ничего, — ответила она испуганно. — То есть да. Тромбофлебит мучит, совсем почти обезножела.

— Вам надо кокарбоксилазу принимать. Это от сердца, и ногам помогает. Лекарство новое, оно и успокаивающее — от нервов.

Она посмотрела на меня водянистыми испуганными глазами и сказала:

— На Головинском кладбище для меня лекарство приготовлено... Успокаивающее...

Я махнул рукой:

— Это успокаивающее от нас от всех не убежит. Да что вы так волнуетесь?

Она смотрела в окно сквозь меня — навывлет, беззвучно шевелила губами, потом еле слышно, на вздохе, сказала:

— А как мне не волноваться — ключи от квартиры только у меня были...

— А почему у вас?

— Надежда Александровна, Льва Осипыча супруга, мне всегда ключи оставляла. Сам-то рассеян очень, забывает их то на даче, то на работе, и стоит тут под дверью, кукует. Потом, помогаю я по хозяйству Надежде Александровне...

— Где ключи сейчас?

Она вынула из карманчика три ключа на кольце с брелоком в виде автомобильного колеса.